



По мостовой  
моей души избезженной  
шаги помешанных  
вьют жестких фраз пяты.  
Где города  
повешены  
и в петле блака  
застыли  
башен  
кривые выи, —  
иду  
один рыдать,  
что перекрестком  
ра́спяты  
городовые.

*Маяковский В. «Я»*





Впервые оказавшись в городе своей давней мечты – в Париже, поэт не сдержал восторга: «Я выхожу на Place de la Concorde!» Он тогда еще и помыслить не мог о том, как больно, как растревоженно ударил по сердцам изгнанников тот смысл, который им вкладывался в восклицание. Для них парижская площадь Согласия не стала той, какой привиделась поэту, – символом примирения, знаком согласия апатридов с теми, кто лишил их Родины.

В дальнейшем Маяковский ежегодно, и не по одному разу, пересекал недружественную (увы, такую же, как и теперь) границу с Западом. Из них шесть многодневных выездов он совершил в Германию и столько же во Францию (напомним: это были страны, наряду с Польшей приютившие у себя наибольшие потоки беженцев из России). А самым длительным (четырёхмесячным!) оказалось его путешествие по Мексике и Соединённым Штатам Америки. Напоминая об этом, приходится с сожалением отмечать, что среди сотен мемуарных, биографических и иных свидетельств о Маяковском его ежегодные поездки в зарубежье остаются белым, скудно освещаемым пятном.

## Как провожали

Уезжал Маяковский в свой первый вояж, радостно одержимый ожиданием встреч и впечатлений, а вслед ему несло улюлюканье газет во главе с «Правдой». Центральный орган большевиков еще 8 сентября 1921 года открыл кампанию вовсе не литературного свойства, а политического освидетельствования поэта статьёй заведующего партийным Агитпропом Л. Сосновского «Довольно “маяковщины”».

«Видели ли вы на Тверской, – вопрошала газета, – в окне “Роста” выставленные раньше цветные, размалеванные, якобы революционные плакаты? Теперь их, к счастью, нет. Но раньше они оскорбляли глаз круглосуточно. Кому они доставляли удовольствие?»

Гг. футуристам. Ибо они получают за них фантастические гонорары. Разда кистью – и готова картина. По такому-то параграфу заплатить художнику с дюйма...

Прибавлена к нелепому рисунку пара нелепых строк якобы стихов...

Заразилась и провинция. Нашлись и там ловкачи, подражатели Маяковского, великовозрастные остолопы, не умеющие рисовать и не желающие этому делу учиться, но желающие “жрррать” по самому высокому тарифу...»

А страна читала, разглядывала и дивилась совсем непривычным: рифмованным, да с картинками, рекламным смешным зазываньям, которые тотчас будут тысячеусто повторены и Москвой, и повсеместно: «Нигде кроме, как в Моссельпроме», «Нет места сомнению и думе: всё для женщины только в ГУМе»; «Лучших сосок не было и нет. Готов сосать до старых лет»...

А стихи поэта, те, что настоящие и серьезные? И они до него так не писались: «Надо рваться в завтра, вперед, чтоб брюки трещали в ходу»; «Грядущие люди! Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души!»; «Земля! Дай исцелю твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот»; «Видите – гвоздями слов прибит к бумаге я»... Читая такое, Горький из своего полуэмигрантского сидения в итальянском «Иль Сорито» отзывался понимающе, но с осторожным одобрением: «В футуристах все-таки что-то есть!» И еще: «Много лишнего, ненужного у футуристов, они кричат, ругаются, но что же им делать, если их хватают за горло. Надо же отбиваться».

Однако скандальная кампания против «якобы революционного» творчества разворачивалась все шире и беспощадней, в нее, как по команде, втесались (и прежде не унимавшиеся) литературные недруги футуристов и лично Маяковского. От этих поэт отругивался легко и остроумно. Примерно так: на одном из литвечеров ничевоки отослали его «к Пампушке на Твербул (к памятнику Пушкину на Тверском бульваре. – *Ред.*) чистить сапоги всем желающим». Отбиваясь, он в карман за ответом не полез, а тут же потребовал принять резолюцию: «Запретить им в течение трех месяцев писать стихи, а вместо этого бегать за папиросами для Маяковского» (и зал дружелюбным хохотом резолюцию одобрил).

Лишь самые близкие знали: к злопыхательству Владимир Владимирович привыкал трудно и огорчительно, словно смиряясь как с неизбежным: ему всякое доводилось слыживать на выступлениях в десятках поездок по стране. Однако в 1921-м примешалось одно зловещее обстоятельство-совпадение. За неделю до беспардонной публикации «Правды», в которой содержалась устрашающая фраза «Надеемся, что скоро на скамье подсудимых будет сидеть маяковщина», страна узнала о том, что в ночь на 26 августа прогремели расстрельные выстрелы, унесшие жизни 61 деятеля науки, культуры, литературы (позже выяснилось: расстрелянных «по делу профессора Таганцева» было не 61, а 350 человек; через полвека они будут реабилитированы). Всех их, не утруждаясь разбирательствами, обвинили в заговоре и шпионстве. Имена казненных с краткими биографическими справками были опубликованы 1 сентября «Петроградской правдой» и «Красной газетой» (в этом сильно усеченном списке тридцатым читаем имя поэта Николая Гумилева).

Антимаяковский памфлет Сосновского был тогда многими понят как донос, так, словно большевистский босс предлагал еще одно имя в палаческий список.

И тут уместно напомнить: как раз с 1922-го началась многострадальная эпопея изгнания из страны интеллигентов, заподозренных в недозволяемом своемыслии. Об этом сегодня рассказывает долго скрывавшийся документ, который и дал ход новой волне репрессий: секретная директива Ленина, направленная 19 мая 1922 года председателю Государственного политического управления (ГПУ) Ф.Э. Дзержинскому. Текст почти восемьдесят лет оставался неизвестным. Не публиковался по причинам важным: оберегалась репутация вождя. Да и сами жертвы репрессий (те, кто выжил), все как один, в мемуарах писали, что не Ленин был зачинщиком. Прочтем же, что директивой предписывалось:

«Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

<...> Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий.

<...> Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей.

<...> Всё это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и выслать за границу»<sup>1</sup>.

Из требовательно указующих формул ленинской директивы одна у чекистов 1920–1930-х годов стала самой ходовой, растиражированной в тысячах приговоров: интеллигенты (а в письме это профессора, педагоги, писатели, журналисты, читай: все деятели науки и культуры) – не кто иные, как «военные шпионы», которых «надо излавливать постоянно». Что и было принято к исполнению на годы властвования большевиков. Здесь обратим внимание на ужасающий факт: почти все упомянутые в письме лица – и те, кто был обозван «шпионами», и те, кто «шпионов» арестовывал и судил

---

<sup>1</sup> Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции в документах ВЧК–ГПУ. 1921–1923. М.: Русский путь, 2005. С. 73–74

(председатель Петроградской ЧК С.А. Мессинг, нарком внутренних дел Украины А.Н. Манцев и др.) вскоре оказались соседями на тюремных нарах, стали жертвами репрессий. Одних из страны изгнали, оставшихся (или оставленных) чуть позже расстреляли или замучили в ГУЛАГе. Ближайшие годы показали, что по сравнению с цифрой подвергшихся политическим расправам (таких миллионы) число изгнанных в 1922-м, вывезенных на пароходах, которые метафорически будут названы «философскими», оказалось ничтожно малым (всего-то сотни). Однако это были избранные из самых авторитетных (а потому сочтенных особо опасными), вырванные из той важнейшей для каждого государства прослойки, которая являлась интеллектуальной элитой, определяющей развитие и процветание любого общества.

Вот с ними-то Маяковскому и предстояли встречи, беседы, споры в литераторских клубах, во время домашних застолий и в кафе, нередко за его любимыми забавами – бильярдом, игрой в бридж или за рулеткой («осведомители», и там приглядывавшие за ним, дивились: как много уделял он времени богемщине; им трудно было понять, что для него это разгрузка, освобождение от напряженного умствования, отдых перед новыми трудами).

Еще до поездок в зарубежье Маяковскому довелось испытать на себе воздействие всевозможных «воспитательных» мер, более похожих на карательные. В их числе – больно ударивший по его писательскому самолюбию запрет «Окон РОСТА», ведомых им самозабвенно и радостно (думалось: вот польза стране, очищающей себя от скверны!). Тогда были уничтожены сотни из его знаменитых агитплакатов («сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей»; кое-что из сохранившегося ему удалось позже издать в сборнике «Грозный смех»; а теперь они заняли весь третий том в его Полном собрании сочинений; есть они и в других томах). Чем мог ответить на дикарство вначале «изласканный», но тут же и «окарканный» поэт? Прежде всего стихами. Как отповедь Сосновским и как насмешка над бюрократическим режимом, деспотически насаждаемым усердствующими аппаратчиками, прозвучала его сатира «О дряни», в которой одни настороженно, другие удивленно (до чего ж вызывающе, как смело!) читали:

Утихомирились бури революционных лон.  
Подернулась тиной советская мешанина.  
И вылезло  
из-за спины РСФСР  
мурло  
мещанина. <...>



Со всех необъятных российских нив,  
с первого дня советского рождения  
стеклись они,  
наскоро оперенья переменив,  
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,  
крепкие, как умывальники,  
живут и поныне –  
тише воды.  
Свили уютные кабинеты и спальни. <...>

На стенке Маркс.  
Рамочка ала.  
На «Известиях» лежа, котенок греется.  
А из потолочка  
верещала  
оголтелая канарейца.  
Маркс со стенки смотрел, смотрел..  
И вдруг  
разинул рот,  
да как заорет:  
«Опутали революцию обывательщины нити.  
Страшнее Врангеля обывательский быт.  
Скорее  
голова канарейкам сверните –  
чтоб коммунизм  
канарейками не был побит!»

И «свертывание голов» не замедлило с осуществленьем, да к тому ж с рвением нарастающим, размашистым. А Маяковский, ни на йоту не усмирённый (не на такого нарвались!), подставляет голову публикацией новой сатиры, куда более острой, среди славословий громогласных и всё заглушающих совсем непопулярной, прозвучавшей насмешкой над революционными строителями коммунизма, – «Прозаседавшиеся» (напечатана в «Известиях ВЦИК» 4 марта 1922 года). Стихи совершенно случайно проскочили в печать (в газету власти!), когда главный редактор Ю.М. Стеклов был в отъезде. Этого ненавистника Маяковского – разъяренного: как посмели! – смогло усмирить лишь одно совсем неожиданное для него (как, впрочем, и для всех) обстоятельство – стихи понравились Ленину.



## «Это был поэт-театр»

Заграница впервые увидела Маяковского сразу во всем его богатырском облике и удивительно разным, со всеми его достоинствами и непонятностями, в актерских масках и без оных, примерно таким, каким описал его Корнелий Зелинский: «Кто он? Человек с падающей челюстью, роняющий насмешливые и презрительные слова? Кто он? Самоуверенный босс, беспепелляционно отвешивающий суждения, отвечающий иронически, а то и просто грубо?.. Разным бывал Маяковский... Самое сильное впечатление производило его превращение из громкоголового битюга, оратора-демагога... в *ранимейшего и утонченного* человека... Таким чаще всего его знали женщины, которых он пугал своим напором». Пугал, но и привораживал!

О своих бесчисленных выступлениях перед публикой Маяковский небрежно говорил, что он с трибун *бабахал*. Глагол «бабахать» – один из многосотенного словаря эпатажей Маяковского. Читая его тексты, мы то и дело натываемся на такие же наделенные острой экспрессией словечки, объяснений которым не найдешь ни в каком лексиконе, потому что смыслы, в них вложенные, – им изобретены, им придуманы, они тотчас подхватывались всеми, а позже, для ученого истолкования, попадали даже в профессорские труды.

Так, как Маяковский, читать, например, стихи или «бабахать» речи, завлекавшие экспрессией, не мог никто. Попытаемся повспоминать, кого еще из дружеского круга, из вместе с ним не раз выступавших, можно бы поставить рядом и сказать: вот такой же актер-трибун, ему равный. Может быть, Бориса Пастернака, по самой его природе негромкого, самоуглубленного, с аурой отделенности, обособленности, неприступности? Или, наоборот, открытого, шумного до бесшабашности Сергея Есенина, возбуждавшего себя алкоголем, но остававшегося трогательно нежным, без всякого напора взывающим к сочувствию и пониманию? Или Романа Яacobсона, о котором любая аудитория сказала бы: выступает муж ученый, вслух размышляющий, рассуждающий и приглашающий к соучастию в поиске каких-то истин?.. Даже яркие и горячие спорщики Виктор Шкловский и Давид Бурлюк, не уступавшие в эпатажности Маяковскому, признавали его превосходство в мастерстве (актерском!) держать аудиторию. Не в этой ли его разности, точнее – многоликости, да еще «головой над всеми» (Ю. Олеша) причина того, что ни одному живописцу (а пытались многие) и ни одному мемуаристу не удалось создать точный портрет поэта? У всех – только его маски.

О раскованности, свободной непринужденности Маяковского на трибунах и сценах, в любых аудиториях хорошо сказал один из его соратников, секретарь редакции журнала «Леф» Петр Незнамов: «Это был поэт-театр». Именно актерством, для него естественным, природным, более всего и поразил русскую эмигрантскую границу (и не только ее) «поэт-разговорщик», «поэт-театр».

Но и граница тоже поразила поэта. Чем же завлекла она и чем отвратила? От каких иллюзий освободила? Над чем убедила задуматься и в чем усомниться?

### «Зря, ребята, на Россию ропщем!»

2 мая 1922 года Маяковский впервые пересек нашу границу – выехал в Ригу, и – его удивление: встречен он был здесь с нескрываемым, даже демонстративным недружелюбством. Латвия запретила ему главное – публичные выступления. И еще: едва издательство «Арбейтерхейм» выпустило (к приезду поэта) его поэму «Люблю», как власти спохватились и не развезенную по киоскам часть тиража конфисковали. А когда Маяковский, уже осенью, собрался выехать в Германию, то и тут прибалты учинили препоны: латвийское посольство отказалось выдать ему транзитную визу, и он отправился в эту поездку морем из эстонского Ревеля на пароходе «Рюген». «Я человек по существу веселый, – отозвался на запрет Маяковский. – Благодаря такому характеру я однажды побывал в Латвии и, описав ее, должен был второй раз уже объезжать ее морем».

«Описав ее...» – поэт имел в виду свое стихотворение «Как работает республика демократическая?», в котором сатирически выложил все него-степриимные странности («причиндалы», «благоустройства заграничные»), коими Латвия окружила его сполна, им не понятые, его изумившие, но зато давшие ему первые уроки на тему «я, Европа, не Россия, я другая» (тогда он не совсем разобрался в том, что Латвия еще не вся Европа). Правда, здесь и правительство («учредилка, где спорят пылко») имеется («чтоб языками вертели»), и армия (даже «пушки есть: не то пять, не то шесть»), и «свобода слова» («напечатал “Люблю” – любовная лирика. Вещь – безобиднее найдите в мире-ка! А полиция – хоть бы что!.. Через три дня арестовала»), и культура («В Латвии даже министр каждый – и то томится духовной жаждой. Мне и захотелось лекцишку прочесть... Жду разрешения у господина префекта...